

*Памяти МЭРИ-ЭНН КЛАРК,  
моей прапрабабушки,  
умершей в Булони 21 июня 1852 года,  
и ГЕРТРУДЫ ЛОУРЕНС,  
игравшей на сцене  
и умершей в Нью-Йорке 6 сентября 1952 года,  
посвящаю эту книгу*

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ГЛАВА 1

Много лет спустя, уже после того, как она ушла из их жизни, в их памяти осталась только ее улыбка. Черты лица, подернутые дымкой забвения, уже были едва различимы. Глаза, как всем казалось, были голубыми — но с тем же успехом они могли быть зелеными или серыми. А волосы, собранные в узел или ниспадающие локонами, были, по всей видимости, темно- или светло-каштановыми. Вот нос уж точно был греческим — ни у кого этот факт не вызывал сомнения. Форма ее рта никого не интересовала — ни тогда, ни теперь.

Все ее естество проявлялось в том, как она улыбалась. Улыбка зарождалась в левом уголке рта и моментально превращалась в насмешку, которой она встречала всех без исключения: и тех, кого любила, в том числе и свою семью, и тех, кого презирала. Они в неловком молчании ожидали, что сейчас на них обрушится поток саркастических замечаний, но, когда ее глаза зажигались озорным огнем, преобразая лицо и излучая радость, они вздыхали с облегчением, понимая, что их разыграли, и начинали от всей души смеяться над ее шуткой.

Это воспоминание они пронесли через всю свою жизнь. Все остальное: ложь, обман, внезапные вспышки ярости — было забыто. Были забыты ее непомерная расточительность, доходящая до абсурда щедрость, язви-

тельный язык. Остались только ее сердечность и любовь к жизни.

Разбросанные во времени, одинокие тени прошлого, неразличимые друг для друга, они перебирали в памяти эти мгновения. Жизненные пути некоторых из них пересеклись, однако дружбы между ними не возникло; и все же против своей воли они оставались связанными одной нитью.

Самое странное заключалось в том, что трое из тех, кого она любила сильнее всех, скончались друг за другом в один год, вскоре за ними последовал и четвертый; и перед смертью каждый из них вспоминал ее улыбку. Они слышали смех, чистый и звонкий, как будто в голове звучала музыкальная шкатулка, и память, подобно прорвавшей плотину воде, затопляла сознание.

Ее брат, Чарльз Томпсон, покинул этот мир первым. Ему никогда ни в чем не хватало терпения. Эта черта характера и стала причиной его смерти, так же как и многих других событий его жизни начиная еще с того времени, когда он, маленький мальчик, тянул к ней ручки и просил: «Возьми меня, не оставляй меня!» Он навечно вверил себя ее заботам, и с тех пор, даже тогда, когда он превратился во взрослого мужчину, они полностью зависели друг от друга, — это и принесло им обоим несчастье.

Его жизненный путь закончился шумной ссорой в пивной, когда он, как обычно, начал бахвалиться — рассказывать, будто бы он был самым многообещающим командиром роты в полку и шел на повышение. Его история была стара как мир: неважное здоровье самого Чарльза, несправедливое отношение к нему полковника, враждебность и зависть младших офицеров, вопиющая несправедливость военных судей. И — как венец истории — страстное желание главнокомандующего ото-

мстить сестре Чарльза, выразившееся в том, что тот вымещал свою злобу на брате.

Чарльз огляделся по сторонам, ожидая увидеть сочувственные взгляды. Однако его рассказ никого не взволновал, многие вообще не слушали: дело было давнее — к чему теперь ворошить прошлое? Отвернувшись, посетители наполнили кружки, что привело Чарльза Томпсона в бешенство. Он швырнул свою кружку на пол и, вскочив, закричал:

— Слушайте, вы, черт бы вас всех побрал! Я такое могу вам порассказать про королевское семейство — вы даже ушам своим не поверите! Знай вы всю правду, вы швырнули бы всех Ганноверов в Канал!

И в это мгновение один из тех, кто еще помнил события шестнадцатилетней давности, тихо, как бы про себя, пробормотал стишок, который был очень популярен в те времена: его распевали на лондонских улицах. В стишке довольно грубо высмеивалась сестра Чарльза. Остряк не собирался обижать Чарльза, он просто хотел повеселиться. Но Чарльз решил иначе. Он подошел к весельчаку и ударил его в лицо. Тот упал, стол перевернулся, потом Чарльз еще кого-то задел, и началась свалка, сопровождаемая криками и ругательствами. Придя в себя, Чарльз обнаружил, что он стоит на улице, щека рассечена, а в ушах все еще звучит хохот его собутыльников.

Ярко светила луна, силуэт собора Святого Павла четко выделялся на фоне темного неба. Чарльз брел, не разбирая дороги, по узким, похожим на лабиринт улочкам, пока наконец какое-то полузабытое чувство не привело его к дому, где они выросли, к дому, существование которого он хотел бы скрыть от своих приятелей. Он взял пример со своей сестры: одним он говорил, что провел детство в Оксфордшире, другим — что в Шотландии.

Но сейчас он стоял перед домом, где действительно прошло его детство: домом, зажатым между другими такими же обшарпанными домами, стоящим в начале переулка Баулинг-Инн-Элли, такого узкого, что лунный свет не достигал его дна и не освещал окон. Именно здесь они с сестрой мечтали о будущем, строили планы. А может, это она строила планы, а он только слушал? Здесь и сейчас жили люди. Он услышал детский плач. Затем прозвучал женский голос, в котором слышались злоба и раздражение. Дверь дома распахнулась, кто-то вышел и выплеснул ведро помоев на вымощенную каменными плитами улицу, крича при этом что-то через плечо.

Чарльз Томпсон развернулся и побрел дальше. Тени прошлого неотступно преследовали его, пока он не добрался до реки. Было время прилива, и вода быстро поднималась. Он понял, что у него нет денег, нет будущего, что его сестра далеко и некому больше вытереть сочащуюся из рассеченной щеки кровь.

Прошло довольно много времени, прежде чем дети, взовишиеся в грязи на берегу, нашли его труп.

Тело Чарльза Томпсона опознал Вильям Даулер, в течение двадцати пяти лет хранивший верность его сестре. Он был уже очень болен, когда письмо от ее поверенных, сообщавшее о находке в реке, вынудило его проделать путь из Брайтона в Лондон. Кое-какие приметы совпадали с описанием ее пропавшего брата, и Даулеру, являвшемуся ее попечителем, пришлось заняться этим делом. Его совершенно не интересовал Томпсон, и, когда его взору предстало то, что осталось от Чарльза, он подумал, что ее жизнь могла бы сложиться совершенно иначе, утони ее брат сразу же после увольнения со службы, семнадцать лет назад. И для Даулера все сложилось бы по-другому. Она пришла бы к нему за сочувствием, и он бы увез ее и заставил забыть все. А получилось так, что ее обуяли гнев и жажда мести. И вот лежит

человек, ставший причиной столь многих несчастий. Ее «бесценный брат», как она обычно называла его, ее «дорогой мальчик».

По дороге назад, в Брайтон, Даулер спрашивал себя: а не была ли его нелюбовь к Томпсону вызвана ревностью? Ведь к большинству ее знакомых он всегда относился довольно спокойно, считая, что они ничего собой не представляют: почти все они безудержно льстили ей исключительно ради того, чтобы вытянуть из нее как можно больше. Возможно, с некоторыми из них у нее были близкие отношения, но он закрывал на это глаза. Ну а что касается герцога, то, оправившись после эмоционального потрясения, Даулер взглянул на их связь как на необходимость, как на своего рода сделку. Впрочем, никакие уговоры Даулера и не смогли бы остановить ее.

— Я же говорила, что у меня далекоидущие планы, — сказала она ему, и стрела попала в цель. — Но ты все равно будешь нужен мне, хотя тебе и придется держаться в тени.

Он так и остался в тени. Он являлся к ней по первому ее требованию. Он давал ей советы, которым она никогда не следовала. Он платил по ее счетам, когда это забывал сделать герцог. Он даже выкупил заложенные ею бриллианты. Но пределом его унижения была обязанность отвозить ее детей в школу, все то время пока она жила в Уэйбридже, куда уезжала вслед за его королевским высочеством.

Зачем он все это делал? Что это ему дало?

Устремив свой взгляд на море, сверкавшее в лучах солнца, Вильям Даулер вспоминал дни, которые они вместе провели здесь, на побережье Брайтона. Это было еще до того, как на сцене появился герцог. Конечно, и здесь, в Брайтоне, она не переставала выслеживать дичь — Крипплгейт Бэрримор и прочие щеголи из *Возничих*, —

но Даулер был слишком ослеплен любовью к ней, чтобы обращать на это внимание.

В Хэмпстеде ему повезло больше: однажды ей очень захотелось его увидеть, и она бежала к нему навстречу, оставив свой пост у постели больного ребенка. Позже, когда герцог уже бросил Мэри-Энн, ее потребность в Даулере только усилилась. Она пришла к нему, и он решил, что ей больше никто на свете не нужен. Однако, зная ее беспокойный нрав, он не мог быть полностью уверен в этом.

И наконец, какое чувство руководило ею, когда она ворвалась к нему в комнату в отеле «Рейд» сразу после того, как он вернулся из Лиссабона? Ее плечи были прикрыты легкой накидкой — у нее и в мыслях не было скрывать свое лицо от окружающих.

— Тебя так долго не было, — проговорила она. — Мне очень нужна твоя помощь!

А может, она специально пришла к нему сразу же после его возвращения, чтобы застать его до того, как ему станет известно все, так как знала, что ему не устоять перед ней? К тому же интуиция подсказывала ей, что он может оказаться для нее самым ценным свидетелем, когда она окажется перед барьером на суде в палате общин.

На этот вопрос, как и на множество других, ответить было невозможно. Повернувшись спиной к морю, Вильям Даулер еще некоторое время стоял, облокотившись на перила. Внезапно мимо него, будто призрак, вызванный его воспоминаниями, проехал экипаж, в котором сидели полный пожилой мужчина и девочка.

Это был герцог Йоркский и его племянница, принцесса Виктория. За последнее время герцог сильно сдал и выглядел значительно старше своих шестидесяти двух лет. Но возраст не лишил его кожу упругости, не превратил ее в сухой пергамент, в нем все еще чувствовалась военная выправка, он энергично взмахивал рукой

в приветствии каждый раз, когда ему навстречу попадались знакомые. Даулер увидел, как герцог наклонился к девочке, которая смотрела на него и весело смеялась, и впервые в жизни он вдруг почувствовал жалость к человеку, которому он когда-то завидовал.

Было что-то трогательное в этом стареющем мужчине, сидящем в экипаже рядом с ребенком, и Даулер задумался: а действительно ли герцог так одинок? Ходили слухи, что он не смог оправиться после смерти своей последней любовницы, герцогини Рутланд, но Даулер прекрасно знал, что молве верить нельзя. Поговаривали, что в конце концов его сведет в могилу водянка, и в этом, по всей видимости, было больше правды. И когда это случится много месяцев спустя, наиболее дотошные газетчики опять начнут трясти грязное белье, обсасывать подробности того расследования и рядом с некрологом в траурной рамке Даулер увидит ее имя.

Однако Даулеру не суждено было пройти через это испытание: он умер на четыре месяца раньше герцога. Именно герцогу довелось прочитать некролог о смерти Даулера в одном из старых номеров «Джентльменз мэгэзин». Одетый в серый халат, уложив забинтованные ноги на стул, герцог сидел в библиотеке в своем доме на Арлингтон-стрит. Он, должно быть, задремал. В последнее время герцог стал быстро уставать. Он никому об этом не говорил, даже Герберту Тейлору, своему личному секретарю, но все вокруг, начиная с его брата-короля и заканчивая этими безмозглыми докторами, которые приезжали каждое утро, — только и твердили, что он очень болен, что ему надо отдохнуть.

Даулер... Что там пишут? «Седьмого сентября в Брайтоне скончался Вильям Даулер, эсквайр, бывший специальный уполномоченный вооруженных сил его величества». И вот уже герцог — не старый и беспомощный



калека, который все дни проводит в особняке Рутландов на Арлингтон-стрит. Он стоит в холле особняка на Глостер-Плейс, срывает с себя португую, бросает ее Людвигу и, перескакивая через три ступеньки, взлетает по лестнице. А она стоит наверху и говорит ему:

— Сир, я ждала вас намного раньше! — Церемонное приветствие не имеет никакого значения, это представление рассчитано на слуг, и, пока она приседает в реверансе (ей страшно нравилось делать реверансы, и для нее не имело значения, что на ней надето: бальное платье или пеньюар), он ногой распахивает дверь, захлопывает ее за собой — и вот она уже в его объятиях и расстегивает пуговицы его рубашки.

— Где ты задержался на этот раз? В штабе или Сент-Джеймском дворце?

— И там и там, дорогая. Не забывай, что мы в состоянии войны.

— Я ни на мгновение об этом не забываю. Ты мог бы гораздо быстрее справляться со своими делами, если бы оставил начальником секретариата Клинтона, а не ставил бы на его место Гордона.

— Почему бы тебе не руководить моей канцелярией?

— Я и так негласно занимаюсь этим последние шесть месяцев. Скажи своему портному, что он делает слишком маленькие петли — я сломала ноготь.

Даулер... Вильям Даулер... тот самый. Герцог тогда нашел ему место в комиссариате. Отдел снабжения, Восточный военный округ. Он даже помнил, когда это было — в июне или июле 1805 года.

— Билл Даулер — мой старинный друг, — сказала она. — Если он получит это назначение, он будет мне очень благодарен.

В тот момент герцог уже засыпал, — как всегда, последний стакан портвейна оказался для него роковым. Так же как и то, что ее голова лежала у него на плече.

— И как же он проявит свою благодарность?

— Он сделает все, что я ему скажу. Например, оплатит счет мясника, который ждет денег три месяца: из-за этого сегодня на обед тебе подавали рыбу.

Господи! Ее смех возник из прошлого, чтобы преследовать его. Даже здесь, на Арлингтон-стрит, где ничто не напоминает о ней. А ему-то казалось, что воспоминания уже давно похоронены под затянутыми паутиной и покрытыми толстым слоем пыли сводами дома на Глостер-Плейс.

В ходе расследования выяснилось, что Даулер заплатил ей тысячу фунтов за это назначение. Он к тому же был ее любовником в течение многих лет. Так ему сказали. Возможно, все это ложь. Какое теперь это может иметь значение? Разрушения, которые она произвела в его жизни, оказались недолговечными. Он пережил это, но так и не встретил женщину, которая в чем-то могла сравниться с ней. Только она обладала неким особым качеством, которое сделало те несколько лет, проведенные на Глостер-Плейс, столь памятными. Он обычно приходил в этот дом вечером, после нескончаемого дня в штабе, и она заставляла его забыть все заботы и трудности, с которыми была связана его должность главнокомандующего армией, в пятьдесят раз меньшей, чем армия противника. (Он получал одни оскорбления, его никогда не хвалили. Ему не так легко было работать с некомпетентными людьми, его попытки организовать оборону Англии были самой настоящей борьбой, в то время как противник только и ждал удобного момента, чтобы пересечь Канал и вторгнуться в страну.) Как только он оказывался в стенах этого дома, раздражение немедленно улетучивалось, и он расслаблялся.

Она чертовски вкусно его кормила. Знала, что он ненавидит торжественные обеды. Все должно быть просто. Чтобы после еды он мог растянуться возле огня, выпить

стакан бренди и посмеяться ее шуткам! Он даже помнил запах той комнаты, тот небольшой беспорядок — ее эскизы на столе, арфа в углу, необычная кукла, которую она притащила с какого-то маскарада, — делавший ее особенно уютной.

Почему всему этому пришел конец? Может, их страсть была слишком сильна, чтобы продолжаться долго, или свою роль сыграло вмешательство этого надоедливового Эдама, ставшего причиной несчастья? А может, она испугалась угроз своего мужа, этого жалкого пропойцы? Он, должно быть, закончил свои дни в канаве. Он наверняка давно умер. Почти все уже покинули этот мир. Он и сам стоит на пороге могилы. Дернув за шнурок звонка, герцог вызвал своего личного слугу Батчелора.

— Что там за шум на улице?

— На Пиккадилли раскладывают солому, ваше королевское высочество, чтобы шум экипажей не беспокоил вас. Это приказание сэра Герберта Тейлора.

— Чепуха какая-то! Прикажите им прекратить это глупое занятие. Мне нравится уличный шум. Терпеть не могу тишины.

Позади особняка на Глостер-Плейс были казармы. Они часто из окна его гардеробной наблюдали за гвардейцами. Ее дом был наполнен жизнью, смехом, движением, шумом: она пела, когда укладывала волосы; звала детей, которые, топоча, сбегали к ней с верхнего этажа; отчитывала горничную, когда та неправильно выполняла ее указания. В том доме была жизнь, а этот — мертв.

Старый дурак этот Тейлор, надо же — приказать застелить Пиккадилли соломой... Муж, которого герцог Йоркский назвал жалким пропойцей, предпочитал тишину уличному шуму. Гораздо приятнее и мягче шлепаться задом на грелку, чем в канаву. Впрочем, он падал не так уж часто. Сазерленд, владелец дома, где он снимал

квартиру, очень внимательно следил за ним и позаботился обо всем. Он держал виски под замком. Но у Джозефа Кларка был свой собственный запас, спрятанный под досками пола в спальне, и время от времени, когда он впадал в меланхолию — а зимы в Кейтнесе долгие, — он устраивал так называемые «праздники в свою честь». Захмелев, но будучи еще на первой стадии опьянения, он торжественно пил за здоровье его королевского высочества главнокомандующего.

— Не каждый, — громко произносил он, хотя его никто не слышал, — достаивается чести обзавестись рогами стараниями принца крови.

Однако он недолго пребывал в таком настроении. Вслед за этим он обычно начинал жалеть себя. Сложись его судьба иначе, он мог бы достичь большего. Но его всю жизнь преследовали неудачи. Ему ни разу не представилась возможность проявить свои способности: всегда что-то мешало. Если бы кто-нибудь дал ему в руки молоток и резец и поставил бы его перед гранитной плитой высотой шесть футов или, вернее, шесть футов и три дюйма — именно таков был рост главнокомандующего, — он бы... он создал бы тот шедевр, о котором она так мечтала. Или разбил бы камень на мелкие кусочки и закончил бы бутылку виски.

Как бы то ни было, в Кейтнесе было слишком много гранита. Все графство было заполнено гранитом. Поэтому-то его и послали туда.

— Ведь ты учился на каменотеса, так? Вот и занимайся этим.

Каменотес? Нет! Художник, скульптор, мечтатель. И все три ипостаси объединялись после бутылки виски.

И все же, представ перед палатой общин, она имела наглость заявить министру юстиции, что ее муж ничего для нее не значит. И целая толпа слышала это.

— Ваш муж жив?

— Я не знаю, жив он или умер. Он ничего для меня не значит.

— Чем он занимается?

— Ничем. Он никто. Самый обычный мужчина.

И все смеялись над ее словами. А потом ее ответ напечатали в газете. Он купил и прочитал. Они смеялись. «Самый обычный мужчина».

Третий стакан помог ему забыть нанесенное оскорбление. Он распахнул окно, впустив в спальню густой туман, лег на кровать и уставился в потолок. И вместо ликов святых, которые он мог бы создать, — строгих ликов с невидящими глазами, устремленными в небеса, — он увидел ее улыбающееся лицо и услышал ее смех. Ранним утром они стояли во дворе церкви Святого Панкратия, и она протягивала к нему руку.

— Случилось ужасное, — сказал он. — Я забыл разрешение.

— Оно у меня, — ответила она. — И нам понадобится второй свидетель. Но я обо всем позаботилась.

— И кто он?

— Могильщик из этой церкви. Я дала ему два шиллинга за труды. Поторопись. Нас ждут.

Она была так взволнована, что ошиблась и в метрической книге написала свое имя перед его. Тогда ей было всего шестнадцать.

Обычный мужчина. Герцогу пришлось прочитать и его некролог. Но не в «Таймсе» и не в «Джентльменз мэгэзин», а в «Джон О'Гроатс джорнэл».

Девятого февраля 1836 года в доме г-на Сазерленда из Бильбстера, Уэттинский приход нашего графства, скончался г-н Дж. Кларк, которого принято считать мужем знаменитой Мэри-Энн Кларк, сыгравшей ключевую роль в суде над Его Королевским Высочеством герцогом Йоркским. В течение последнего времени г-н Кларк имел пагубную склонность к алкоголю,

что, в сочетании с неудавшейся семейной жизнью, сказалось на его умственных способностях. Говорят, что у него было найдено несколько книг, исписанных именем Мэри-Энн Кларк.

Вот и исчезло последнее звено, кануло в вечность, окутанное облаком винных испарений. Единственное, что осталось от них, — пачки писем, непристойные памфлеты и старые, покрытые пылью газеты. Обладательница той улыбки, которую они вспоминали, в конце концов утерла нос им всем. Она не была ни призраком, ни воспоминанием, ни плодом воображения, ни давно забытой мечтой, разбивающей сердца тех, кто терял голову от любви к ней. Ей было семьдесят шесть, и она сидела у окна в своем доме в Булони и смотрела на далекий берег Англии, где все давно забыли о ней. Ее горячо любимая дочь умерла, другая дочь жила в Лондоне. Внуки же, которых она нянчила, когда те были совсем крошками, теперь стеснялись даже упоминать ее имя и никогда не писали ей. У сына, которого она обожала, была своя жизнь. Мужчины и женщины, которых она когда-то знала, были преданы забвению.

И все воспоминания достались ей.

## ГЛАВА 2

Первым воспоминанием Мэри-Энн был запах типографской краски. Ее отчим, Боб Фаркуар, обычно не переодевался после работы, и им с матерью приходилось каждый день стирать. Как они ни старались, пятна от краски не сходили, и манжеты его рабочей блузы всегда казались грязными. Да и сам он выглядел неопрятно, и ее мать, ревностная поборница чистоты, непрерывно ругалась с ним из-за этого. Очень часто он садился

к столу с руками, испачканными краской. Она въелась даже под ногти, которые стали черными. Каждый раз Мэри-Энн видела, как нежное лицо матери, это лицо мученицы и страдальцы, болезненно искажалось. Но Мэри-Энн нравился ее отчим, и ей не хотелось, чтобы мать начинала его пилить, поэтому она щипала под столом своего братишку, который тут же начинал плакать и отвлекал мать.

— Закрой свой рот, — говорил Боб Фаркуар, — я не слышу, как я ем.

Он всегда чавкал во время еды. Запихнув еду в рот, он потом вытаскивал огрызок карандаша, раскладывал на столе свернутые в трубку, еще сырые оттиски и принимался одновременно и есть, и править. И запах типографской краски смешивался с ароматом подливки.

Именно по этим оттискам Мэри-Энн научилась читать. Слова завораживали ее, ей казалось, что форма букв очень важна, и она считала, что буквы различаются по полу. Например, «а», «е» и «у» — это женщины, а твердые «г», «б» и «к» — мужчины и зависят от букв женщин.

— Что это такое? Прочти мне! — просила она Боба Фаркуара, и ее отчим, веселый и добродушный человек, обнимал ее за плечи и объяснял, как буквы складываются в слова и что можно с ними делать. Для чтения у Мэри-Энн были только эти оттиски, так как все книги и другие вещи ее матери были давно уже проданы, — скудного заработка Боба Фаркуара, работавшего в типографии господина Хьюэса, на жизнь не хватало. Господин Хьюэс наводнил все книжные лавки дешевыми сборниками памфлетов, сочиненных какими-то неизвестными авторами.

Вот так и получилось, что в том возрасте, когда дети начинают изучать катехизис и по слогам читать Книгу

притчей Соломоновых, Мэри-Энн сидела на ступеньках дома на Баулинг-Инн-Элли, погружившись в газетные статьи, полные нападок на правительство, недовольства внешней политикой, истерии, вызванной в одинаковой степени как любовью, так и ненавистью к каким-то политическим деятелям. Эти статьи перемежались сообщениями о скандалах, слухами и различными домыслами.

— Присмотри за мальчиками, Мэри-Энн, и помой посуду, — говорила ей уставшая и раздраженная мать, и девочка откладывала принесенные отчимом оттиски, поднималась со ступенек и шла убираться, так как ее мать, опять беременная, не выносила даже вида обедков. Родной брат Мэри-Энн, Чарли, в это время обычно налегал на варенье, а единоутробные братья, Джордж и Эдди, ползали по полу у нее под ногами.

— Ведите себя хорошо, иначе я выгоню вас, — приказывала девочка очень тихо, чтобы ее не услышала мать, которая была в спальне наверху.

Позже, когда посуда была вымыта, стол убран, а мать ложилась отдохнуть, Мэри-Энн брала одного из малышей, усаживала его на бедро, давала руку другому, разрешала третьему держаться за ее юбку и они уходили прочь из этого каменного ущелья, куда никогда не проникало солнце, и задними дворами пробирались на Ченсери-лейн, а потом спускались по Флит-стрит.

Они попадали в совершенно другой мир, в мир, который ей очень нравился, полный света, ярких красок, шума и самых разнообразных запахов, таких отличных от запахов их улицы. Здесь тротуары были запружены пешеходами, экипажи с грохотом поворачивали на Ладгейт-Хилл и к собору Святого Павла, возчики щелкали кнутами и кричали. В этом мире изящный джентльмен останавливал свой экипаж и направлялся в книжный